



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Апология сумасшедшего

(в сокращении)

Печатаая записку П. Я. Чаадаева, благосклонно сообщенную нам одним из его родственников¹, мы должны сделать несколько замечаний о ее характере и образе мыслей человека, получившего такую почетную известность одним письмом, напечатанным лет 25 тому назад. «Апология», печатаемая нами теперь, содержит в себе объяснение этого письма, помещенного в «Телескопе» за 1836 год. Но сам «Телескоп» составляет ныне библиографическую редкость; между нынешней публикой далеко не всем удавалось прочесть статью Чаадаева, о которой так много слышал каждый. Потому полагаем, что не довольно было бы нам представить только наше мнение о направлении его знаменитого письма и что почти все читатели будут нам благодарны, если мы дадим им возможность ближе познакомиться с письмом, приведя из него отрывки.

Из некролога, помещенного г. Лонгиновым в «Современнике» 1856 года (№ 7. Смесь, с. 5), мы знаем, что Чаадаев родился в 1793 году². Служа офицером в лейб-гусарском полку, который стоял тогда в Царском Селе, он в 1815 году³ познакомился с Пушкиным, на которого имел сильное влияние и которому в деле удаления его из Петербурга в мае 1820 года оказал важную услугу⁴. Пушкин до конца жизни оставался его другом. Все другие благородные люди, встречавшиеся с Чаадаевым, уважали его за характер, ум и замечательную образованность. Много лет он прожил за границею, занимаясь между прочим философиею, и по возвращении на родину в 1826 году поселился в Москве, где до самой своей смерти (13 апреля 1856 г.) «служил, по выражению Лонгинова, посредником между людьми различных направлений. К нему съезжались по понедельникам почти все мыслящие люди. Искусство сближать людей и

красноречивая беседа хозяина привлекали туда всякого, кто хотя <бы> однажды посетил его»⁵.

Человек большого ума и обширных связей, Чаадаев набрасывал иногда на бумагу мысли, его занимавшие. Но он никогда не хотел быть писателем. Ряд размышлений, из которых первое было напечатано в «Телескопе», вовсе не предназначался для печати; эти размышления были написаны по поводу разговора Чаадаева с одной из знакомых ему дам и, собственно, только для нее⁶. Потому, имея форму писем, они касаются личного положения и личных качеств дамы, к которой были адресованы, с такою же подробностью, как и общих научных вопросов. При своем сильном таланте, Чаадаев, конечно, понял бы совершенную излишность этих личных объяснений в своих письмах, если бы когда-нибудь предназначал их для публики; если бы он сам хотел их печатать, он, наверное, вычеркнул бы из своего первого письма многие страницы, как решительно неинтересные для публики. Но письмо попало в журнал чисто случайным образом. Один из друзей Белинского (Станкевич, как мы слышали)⁷ прочел письма, данные ему частным образом, заинтересовал ими Белинского, который тогда был главным сотрудником «Телескопа». Письма были на французском языке. Чаадаева стали просить, чтобы он позволил перевести их на русский и поместить перевод в «Телескопе». Он согласился. Нам кажется, что он даже не просматривал печатаемого перевода: мы так судим потому, что есть в переводе выражения, не совсем удачно отгадывающие мысли подлинника; без сомнения, Чаадаев поправил бы ошибки, если бы просматривал перевод⁸. Было напечатано только одно письмо. Мы слышали, что было уже приготовлено к изданию второе, но что книжка «Телескопа», в которой оно было помещено, не вышла в свет по случаю прекращения журнала⁹. Не знаем, верен ли этот рассказ; мы передаем, что слышали, и просим исправить неточности, если они есть в наших словах.

Первое письмо Чаадаева, бывшее причиной прекращения «Телескопа» и удаления из Москвы издателя журнала, произвело, как все рассказывают, потрясающее впечатление на тогдашнюю публику. Оно поразило всех страшным отчаянием, которое, как тогда казалось, господствует в нем. Нынешняя публика, более привыкшая к мыслям широким и неприкрашенным, едва ли почувствует такое впечатление от чтения письма. Мы в каждой книжке каждого журнала читаем ныне вещи столь же горькие, можем находить их основательными или неосновательными, но никому из нас не кажется, чтобы они ды-

шали безнадежностью и внушались отчаянием. Содержание письма очень просто. Чаадаев говорит, что мы не участвовали в жизни Западной Европы, потому не вошли в нашу жизнь те понятия и обычаи, на которых зиждется нынешняя европейская цивилизация. Нам нужно еще учиться всему тому, что с первых лет детства входит в жизнь западного человека. Учиться трудно, времени на это нужно много, потому людей истинно цивилизованных в нашем обществе еще мало, а господствует в нем беспорядица понятий и обычаев. Даже те немногие, которые сами по себе могут назваться цивилизованными людьми, не ведут той жизни, не имеют тех интересов, не делают тех дел, каких следовало бы ожидать от цивилизованного человека и которые составляют их собственную внутреннюю потребность. В Западной Европе этой разладицы, шаткости и скуки нет, потому что там развитое и установившееся общество поддерживает человека, дает ему средства для жизни, приличной его внутреннему развитию. У нас в обществе вы не находите никакой опоры, а видите только хаос, сбивающий вас с толку, увлекающий вас в пошлость или наводящий на вас уныние. Из этого следует, что нам надобно как можно усерднее стараться об устроении тех великих идей, которые руководят истинно цивилизованными народами и которые до сих пор еще так слабо прижились.

Вот сущность мыслей, находящихся в напечатанном письме Чаадаева. Читатель согласится, что теперь в них нет ровно ничего особенно страшного. Если хотите, они и в 1836 году являлись в печати уже не в первый раз. Не говоря о других книгах и журналах, в самом «Телескопе» с самого начала, то есть около шести лет, Надеждин говорил почти то же самое, и более двух лет почти то же самое говорил Белинский. Разница была разве в том, что они высказывали такой взгляд на русскую жизнь в статьях о каких-нибудь частных предметах, а письмо Чаадаева, собственно, только и занималось изложением дела в его самом общем виде.

Несколько странно представляется после этого, что именно письмо Чаадаева наделало такого шума, хотя не говорило ничего неслыханного для читателей «Телескопа». Конечно, автор был человек даровитый и мысли свои излагал энергическим языком; но Надеждин и Белинский писали не хуже, если не лучше его, — за что же обратилось особенное внимание не на какую-нибудь из их статей, а на письмо Чаадаева? Очень большую роль надобно тут, как и во всех подобных вещах, приписать просто случаю¹⁰. Скажите, например, за что почтенные

дамы и господа называли ужасно безнравственным произведением «Евгения Онегина» и запрещали своим дочерям читать его, а вовсе не гневались на «Руслана и Людмилу», хотя в этой милой сказке соблазнительные картины гораздо ярче, чем в «Евгении Онегине»? Видно, что на роду написано человеку, книге или статье, то и будет с ними: все равно, заслуживали или не заслуживали они своей судьбы.

Но есть в письме Чаадаева особенность, которая, вероятно, способствовала этой статье возбудить особенный эффект, столь почетный и столь вредный. Человеку, не знающему наших обстоятельств, показалось бы, что эта особенность должна служить ограждением и рекомендацией для его письма во мнении тех, которые остались недовольны. Чаадаев был человек глубоко религиозный и все свои мысли подводил под точку зрения назидательного благочестия. Каждому известно, что в IX веке западная церковь отделилась от восточной, а мы приняли христианство уже в X веке, то есть по разделении церквей¹¹. Известно также, что до начала XVI века вся Западная Европа была связана единством исповеданий. Чаадаев с особенным вниманием занимался этою стороною вопроса о причинах долговременной нашей отдельности от Западной Европы. Он говорил, что Западную Европу составляли страны католические, страны чуждого нам исповедания, а бóльшая половина его письма наполнена восторженными похвалами высокому значению христианства и сожалениями о том, что мы, русские, только называем себя христианами, а теплого христианского чувства в нас мало. Сообразно своему религиозному настроению духа, он говорил, что нам следует быть религиознее, что только благочестие сделает нас и просвещенными, и счастливыми. Но, делая благочестивые размышления главным содержанием своей беседы, Чаадаев принимал на себя звание проповедника, то есть звание, не принадлежащее светскому человеку; он произвольно присваивал себе должность, на которую не имел права, и такое самовольство, хотя до некоторой степени извиняемое усердием, конечно, не могло быть допущено в благоустроенном обществе. Проповедником должен быть только тот, кто определен проповедником, а светский человек, не имеющий этого священного сана, не может, при всей своей надобности, говорить о священных предметах требуемым образом¹². Как бы ни были набожны его мысли, как бы ни были благочестивы его намерения, он неизбежно впадет в ошибки и станет вовлекать других в заблуждение, если дерзнет излагать вероучение. Чаадаев не сообразил этих правил, и их забвение, вероятно, содействовало про-

изведению результата, который иначе был бы несколько загадочнее.

Мы не имеем ни малейшей охоты присваивать себе звание, нам не принадлежащее, и потому при изложении письма Чаадаева не будем говорить о страницах, посвященных собственнорелигиозным размышлениям. Мы обратим внимание только на общественную и историческую стороны этого интересного произведения; мы ограничиваем наш обзор этой частью его идей тем охотнее, что в ней, собственно, и заключается сущность взгляда, а религиозность составляет единственно облачение его.

Перевод статьи Чаадаева напечатан под заглавием «Философические письма к г-же ***. Письмо первое». Начинается оно деликатными похвалами душевным качествам дамы, к которой адресовано, и переходит к объяснению причин, по которым она, при всех своих нравственных достоинствах, чувствует внутреннее недовольство собою и жизнью, — это зависит от состояния нашего общества, разумная жизнь которого еще очень бедна и шатка¹³. <...>

Вы можете замечать это на самой себе, продолжает Чаадаев: вам нечем наполнить вашу жизнь; да и все наше общество таково же, нет в нем ничего установившегося, выработанного; это происходит от нашей истории¹⁴. <...>

Далее автор развивает мысль о благотворных плодах христианства и продолжает¹⁵ <...>

Мы выписали почти половину статьи. Ее окончание посвящено почти исключительно развитию размышлений благочестивого направления, вытекающих из страниц, представленных нами читателю. Имени автора под статью не выставлено; зато любопытно обозначение местности, в которой она написана:

*Некрополис,
1829, декабря 1.*

«Некрополис» — «город мертвых»: автор живет как бы среди мертвых людей. В находящемся у нас экземпляре на белой нижней половине последней страницы сделаны карандашом замечания о Чаадаеве, показывающие знакомство человека, их делавшего, с московскими отношениями Чаадаева; этот неизвестный нам комментатор приписал цифру 4 после 1, означающее число месяца, — он хотел показать, что в рукописи автора было выставлено 14. Если действительно так, это как бы посвящение статьи памяти об отношениях, внушивших Пушкину стихотворение «Арион»¹⁶.

Читателю известно, что напечатание перевода письма Чаадаева имело своим последствием составление акта о сумасшествии автора. Записка, которую теперь мы печатаем, имеет заглавие «*Apologie d'un fou*» — «Апология сумасшедшего», выставленное на нашей. Записка эта на французском языке, подобно самому письму, результаты которого были причиною ее составления. Мы печатаем ее в переводе, который был доставлен нам вместе с подлинником; мы исправили язык перевода, очень верного и близкого к подлиннику. «Апология сумасшедшего», по нашему списку, произведение недоконченное: Чаадаев, как видно, вздумал было написать ряд записок в свое оправдание и вполне написал первую из них, которая представляется, как увидит читатель, цельным и законченным сочинением. Но в доставленном к нам списке над этою запискою поставлена под общим заглавием «*Apologie d'un fou*» цифра 1, а по ее окончании следует цифра 2 и потом несколько строк, составляющих всего один период, которым должна была начинаться вторая записка, или глава. Вот перевод этих строк:

«Есть факт, верховно владычествующий над нашим развитием в ряду веков, проходящий через всю нашу историю, со вмещающую в себе, так сказать, всю ее философию, проявляющийся во все эпохи нашей общественной жизни и определяющий характер их, служащих существенным элементом нашего политического величия и с тем вместе причиною нашего умственного бессилия; этот факт — географическое положение».

Оставляя эти строки, будем говорить о первой записке, или главе. Заглавие показывает цель, с которою она составлена: Чаадаев хочет оправдать свое письмо, за которое признан был сумасшедшим. Для кого именно составлена записка, в ней самой нет прямых указаний; видно только, что Чаадаев обращается к целому кружку или классу людей из числа лиц, негодовавших на его напечатанное письмо; видно также, что от мнения этих лиц более или менее зависела его судьба. На доставленном к нам списке выставлен 1836 год — тот самый, когда постиг его случай, бывший причиною составления записки. Время и цель составления записки отразились на некоторых местах ее; мы выпускаем из нашего перевода эти места, которые не могут считаться достоверным выражением мнений автора, имея внешнее назначение: просим читателя верить, что мы не поступили неуважительно к автору или легкомысленно, когда выпустили из перевода эти места, которые могут быть разъяснены в должном свете только в биографии Чаадаева¹⁷. Свойство комментариев, которыми сопровождаем мы печатаемую нами записку, мо-

жет достаточно свидетельствовать, что мы не могли руководиться никакими соображениями, кроме того уважения, какого достойно имя Чаадаева. Мы обозначаем точками места пропусков.

После общего заглавия «Apologie d'un fou» следует общий эпиграф, взятый из Кольриджа:

O my brothers! I have told most bitter truth, but without bitterness (О братья мои! Горчайшую истину сказал я, но без горечи)¹⁸.

За этим следует цифра 1 и начинается самая записка. Первые строки ее имеют вид христианских размышлений о терпении; переходя к людям, негодующим на него, автор говорит, что гнев их проистекал из оскорбленной их любви к отечеству: но, замечает он¹⁹ <...

Конечно, здесь не место рассматривать вопросы, представляющиеся Чаадаеву в его апологии, и доказывать правильность или неправильность решения, какое он дает им. Это потребовало бы не нескольких страниц, которыми мы располагаем, а нескольких длинных статей; притом не развивать перед читателем наши собственные взгляды на вопросы, занимающие Чаадаева, обязаны мы здесь, а только объяснить характер и основания его взглядов.

Прежде всего мы должны вспомнить о состоянии русской истории в 20-х годах, потому что идеи Чаадаева во многом зависят от того вида, в котором представляется история русской нации. Разработка ее только что начиналась или, вернее сказать, даже и не начиналась в эпоху, когда слагался образ мыслей Чаадаева. Человек умный, он видел совершенную нескладницу и пустоту во всем том, что рассказывали ему о русской истории Карамзин и другие писатели риторического направления, которых одних мы имели; кроме того, были компиляторы, усердно пересказывавшие все без разбора факты в том самом виде, как рассказаны они летописями. Летописи наши совершенно бессвязны, чужды всякого соображения. Всякий вздор занесен в них с такой же любовью, как события важные. Факты перебиты, перемешаны в рассказе. Читая летописи, вы часто не разберете даже, кто победил, кто прогнан в битве: «Сразишася Володимирцы и Ноугородьцы и побегоша»; кто же побежал? Владимирцы или новгородцы? Или не разбежались ли уж и те и другие? Разрешить эту загадку вы сумеете разве по тому, что через две страницы, прочитав бездну отрывочных известий о киевских, черниговских и всяких других событиях, рассказанных так же вразумительно, — о смерти разных кня-

зей и епископов, о рождении разных князей, об освящении новых церквей, о солнечных затмениях, о погоде и т. д., — вы найдете наконец фразу, сказанную тоже неизвестно зачем и неизвестно к чему: «Бе мор в Новеграде, непускаху бо в Новъград хлеба». Не угодно ли вам догадаться, что из этого следует, что владимирский князь занял дороги, по которым новгородцы получали хлеб с юга, что, значит, успех в войне был на его стороне и что, следовательно, «побегоша» новгородцы, если сражение, о котором вы читали, принадлежит к той же войне, о которой тут и не упомянуто, и если после него не было других сражений, в чем вы не можете быть уверены. В таких источниках вы не найдете, разумеется, философской идеи, а те писатели, которые не ограничивались компилированием, подымали все на такие ходули, что дело выходило еще бестолковее. По Карамзину, злодей Борис Годунов и злодей Святополк Окаянный говорят одинаковым языком, имеют одинаковые понятия и управляют обществом совершенно одинаково — тем самым обществом, в котором жили Кир, Аристид, Ромул, Тит, Людовик XI и Густав Адольф: это все люди одной эпохи, одних понятий, и общественные учреждения при них при всех были одинаковы. О римской, о французской истории можно было узнать что-нибудь из умных книг, потому и в истории греков или французов был виден какой-нибудь смысл. Но о русской истории, кроме гили, ничего нельзя было прочесть во времена молодости Чаадаева. Разумеется, умному человеку должно было показаться, что во всех событиях и переменах жизни русского народа нет ни связи, ни смысла. Мы вовсе не говорим, чтобы такое впечатление соответствовало истине. Теперь русская история несколько разработана, хотя еще очень плохо, но все-таки хоть несколько разработана, и мы видим, что в ее развитии была связь, был некоторый смысл — хороший или дурной, это все равно, но был смысл. Наши учреждения развивались; быть может, развивались очень дурно, под очень вредными влияниями, но все-таки было у нас движение, а не совершенный застой. Чаадаев образовался, когда не было еще ни истории Полевого, ни даже памфлетов скептической школы²⁰, удивительно ли, что он смотрел на русскую историю, как не должны смотреть мы. Если он говорил: «В нашей истории нет смысла, а история называется историею только тогда, когда имеет смысл, а потому у нас нет истории», — если он говорил это, он только доказывал своими словами, что он человек большого ума, которого нельзя обольстить вздорною риторикою, и что по своим понятиям он гораздо выше людей, бывших тогда нашими учителями истории.

Отвергая историю, он должен был отвергать и то, что характер наш уже получил известные определенные черты от исторических событий. Ему казалось, что Петр Великий нашел свою страну листом белой бумаги, на котором можно написать что угодно. К сожалению — нет. Были уже написаны на этом листе слова, и в уме самого Петра Великого были написаны те же слова, и он только еще раз повторил их на исписанном листе более крупным шрифтом. Эти слова не «Запад» и не «Европа», как думал Чаадаев; звуки их совершенно не таковы: европейские языки не имеют таких звуков. Куда французу или англичанину и вообще какому-то ни было немцу произнести наши *Щ* и *Ы*! Это звуки восточных народов, живущих среди широких степей и необозримых тундр. Петр Великий застал нас с таким характером, какой недавно имели персияне. Ведь и у персиян была своя история; и у них события совершались не бессвязно и проходили не без следов. Мы сказали, что длинное развитие наших мыслей было бы здесь неуместно. Дело только в том, что, пока русская история до Петра оставалась предметом бессмысленных компиляций или нестерпимых декламаций, не было понятно и значение реформы Петра Великого. Он жил уже не во времена наивных летописцев и мог сделаться только предметом риторических упражнений. Пока не разработали источников — а это было уже после молодости Чаадаева, — не могли различить даже того факта, что целью деятельности Петра было создание сильной военной державы. Это простое и естественное стремление великого реформатора было закрыто от наших глаз туманом всяких пышных фраз. Ломоносов взял панегирик Плиния Траяну и при переводе его на русский язык поставил вместо имен «Траян» и «Рим» «Петр» и «Россия». Такие понятия оставались до последних лет. Петру приписывались все те качества и стремления, которые в каком бы то ни было панегирике приписывались какому бы то ни было знаменитому правителю. От Тита мы взяли милосердие, от Брута — неумолимое правосудие, от Людовика XIV — великолепие, от Цинцинната — простоту, от Аристида — правдолюбие, от Ришелье — дипломатическое искусство и, когда соединили все это, провозгласили: «Вот Петр Великий!». Чаадаев был так умен, что не верил этой нескладице; но все же он был человек своей эпохи и следы ее остались на нем. Он мог отвергнуть панегиризм, но приходил в энтузиазм от имени Петра Великого. Он принял из книг своей молодости и понятие, что задушевною целью Петра было превращение России в европейскую страну, понимая под европейскою страню землю, где владычествует

высокая европейская цивилизация. Теперь думают, что придавать Петру Великому такое намерение — значит представлять его слабодушным мечтателем, непрактичным идеалистом, — недостатки, которых не было в его характере; думают, что цель Петра была гораздо проще, практичнее, сообразнее с его положением и понятиями. Ему нужно было сильное регулярное войско, которое умело бы драться не хуже шведских и немецких армий; ему нужно было иметь хорошие литейные заводы, пороховые фабрики; он понимал, что элементы военного могущества ненадежны, если его подданные сами не обучатся вести военную часть в зависимости от иностранных офицеров и техников; стало быть, представлялась ему надобность выучить русских быть хорошими офицерами, инженерами, литейщиками. Раз пошедши по этой дороге, занявшись мыслью устроить самостоятельное русское войско в таком виде, как существовало войско у немцев и шведов, он, по своей энергической натуре, развил это стремление очень далеко и, заимствуя у немцев или шведов военные учреждения, заимствовал, кстати, мимоходом и все вообще, что встречалось его взгляду. Но эти прибавки были уже только делом второстепенным, неважным, а главное дело составляли военные учреждения. Когда некоторые из его подданных стали роптать и противиться, он, как человек пылкий и настойчивый, не уступил оппозиции, а только разгорячился от нее и стал делать все наперекор людям, его раздражавшим: они любили бороды — отнять у них бороды, они любили держать жен взаперти — выпустить жен; если бы они любили брить бороды, он заставил бы их отпустить бороды. Прежняя администрация была ему враждебна — он ввел другую администрацию, взяв ее у немцев или шведов не потому, что немецкие административные формы были тогда лучше русских, — во-первых, они едва ли были лучше, во-вторых, и не на эту сторону обращалось внимание, — нет, просто потому, что прежние враждебные формы надобно было заменить другими, которые были бы удобнее для своего учредителя. Ломка старины производилась просто по ее враждебности, а не по какому-нибудь другому соображению, шла война с нею, и только всего; а самая война вытекала просто из непонятливости противников Петра, вообразивших его вообще любителем Запада, между тем как ему были нужны, собственно, только военные учреждения Запада. Но, разумеется, когда эта ошибка противников вызвала Петра Великого на внутреннюю войну, он действительно стал поступать будто приверженец Запада, ломая старинные учреждения и заменяя их западными.

Могут сказать: но ведь все равно, если целью Петра было и просто создание сильной военной державы, а не перенесение европейской цивилизации в Россию, — все равно результат был тот же самый: перенесение к нам западной цивилизации. Нет, не все равно, и результат был не тот. Целью дела определяется дух его, а результат зависит от духа, в каком ведется дело. При видимом сходстве действий результаты их различны, если цели их различны. Кто учит своих воспитанников, например, юриспруденции с тою мыслью, чтобы из них вышли практические дельцы, люди, способные сделать служебную карьеру, у того образуются не такие люди, не такие юристы, как у человека, обучающего своих воспитанников юриспруденции с тою мыслью, чтобы они умели понимать и защищать справедливость. Результатом деятельности Петра Великого было то, что мы, получив хорошее регулярное войско, стали сильною военною державою, а не то, чтобы мы изменились в каком-нибудь другом отношении.

Петра Великого иные порицают за то, что он ввел к нам западные учреждения, изменившие нашу жизнь. Нет, жизнь наша ни в чем не изменилась от него, кроме военной стороны своей, и никакие учреждения, им введенные, кроме военных, не оказали на нас никакого нового влияния. Имена должностей изменились, а должности остались с прежними атрибутами и продолжали отправляться по прежнему способу. Губернатор был тот же воевода, коллегии были теми же приказами. Бороды сбрили, немецкое платье надели, но остались при тех же самых понятиях, какие были при бородах и старинном платье. На ассамблеи ходили, но семейная жизнь со всеми своими обычаями осталась в прежнем виде. Муж не перестал бить жену и женить сына по своему, а не по его выбору. Напрасно думают, что реформа Петра Великого изменяла в чем-нибудь состояние русской нации. Она только изменяла положение русского царя в кругу европейских государей. Прежде он не имел в их советах сильного голоса, теперь получил его благодаря хорошему войску, созданному Петром.

Само собою разумеется, что мы выражаемся так, безусловно, только по логической необходимости отвечать на известное мнение таким же тоном, каким оно произносится. Защитники и обыкновенные противники реформы Петра Великого одинаково говорят, что она изменила всю нашу жизнь, и развивают свои мнения с эмфазом²¹, придающим всеобъемлющее значение слову «всю». Когда голос возвышается до такого крика, возражая на него, надобно так же громко крикнуть «нет»; если

произнести это слово спокойным, тихим голосом, оно не будет услышано. Но, разумеется, когда затихнет шум, поднимаемый и защитниками, и обыкновенными противниками реформы об ее будто бы сильном влиянии на общественную жизнь и нравы наши, когда можно будет рассуждать об этом деле чисто ученым, не полемическим тоном, надобно будет сказать, что некоторое изменение в жизни и правах общества было произведено реформой, хотя изменение до того слабое, что много занимать им и нет надобности. Если механика говорит, что песчинка, упавшая в Атлантический океан с испанского берега, производит волну на американском берегу, то, разумеется, не могло [не] произвести некоторого изменения в других сферах жизни нововведение столь важное, как устройство сильного и хорошего регулярного войска по западному образцу. Совершенная переделка такого громадного факта, как военная часть, повлекла за собою множество переделок во всем; мы хотим только сказать, что все эти переделки в других сферах, кроме военной, ограничивались переменою имен, а не характера вещей. Разумеется, и простая перемена имен уже имеет некоторое влияние на характер вещи. Попробуйте переименовать губернатора префектом, его должность и образ действий несколько переменятся. Надобно только помнить, что чем меньшую важность мы будем приписывать перемене, произошедшей при Петре в нашей общественной жизни, тем ближе мы будем к истине. Весь дух вещей остался прежний, насколько может оставаться вещь в прежнем виде, когда изменяется только имя ее без всякого намерения изменить сущность.

У самого Петра Великого все важные для общественной жизни понятия и все принципы действия были совершенно русские понятия и принципы времен Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. От своих противников он отличался не характером идей, а только тем, что он понимал надобность, а они не понимали надобности устроить войско по немецкому образцу. Они думали, что хорошо прежнее войско, — он находил, что оно дурно. Но для чего нужно войско, как должно быть устроено государство, какими способами должно быть управляемо, каковы должны быть отношения власти к нации, — обо всем этом он думал точно так же, как и его противники. Он был истинно русским человеком, не изменившим ни одному из важных в общественной жизни понятий и привычек, господствовавших у нас во время его детства и юношества. Чтобы убедиться в этом, надобно только обратить внимание на то, как он действует. Способ его действия чисто национальный,

без малейшей примеси западного характера. По особенным обстоятельствам нашей истории в XVII веке сущность русского характера в общественной жизни определялась двояким отношением власти к форме. Во-первых, власть стояла выше всяких форм и не было форм, которые могли бы стеснять ее действие. Людовик XIV мог мечтать, что одна его воля управляет Франциею, — она действительно была сильна, но были формы, без которых она не могла обходиться и которые часто мешали ей: существовали парламенты, существовали провинциальные сословные собрания. У нас таких препятствий не было. Но зато вся деятельность была обращена на форму, сущность дела была неуловима для контроля со стороны власти. Обе эти черты остались при Петре Великом во всей силе: первую заботливо хранил он, подобно своим предшественникам, вторая хранилась при ней сама собою, как в XVII веке.

Очень может быть, что этот взгляд на дело изложен нами теперь не с полною удовлетворительностью. Но мы полагаем, что чем внимательнее займется читатель проверкою его, тем больше будет он находить подтверждений ему.

На реформе Петра Великого мы так долго останавливались потому, что ее характеру совершенно соответствовал характер всей последующей государственной деятельности. Все наши императоры и императрицы продолжали дело Петра, в этом никто не сомневается. Взглядом на реформу, произведенную в начале XVIII века, определяется взгляд на продолжение этой реформы до последнего времени.

Все это мы говорили к тому, чтобы понять возникновение суждения Чаадаева о нашем нынешнем характере и положении. Если принимать, что до Петра Великого мы не имели истории, не сформировался наш характер; если принимать также, что целью деятельности Петра Великого было вложить в нас западную цивилизацию, что такова же была цель его продолжателей, то, натурально, будет представляться чем-то диким, нелепым наше нынешнее положение. Мы готовы были сделаться чем угодно, потому что еще ничем не были; нас полтора-два десятилетия учили сделаться европейцами, и все-таки мы до сих пор очень плохие европейцы, — это действительно очень странно. Если посылки справедливы, то вывод из них, представляемый средою, в которой мы живем, очень неутешителен: он противоречит ожиданию, какое возбуждается посылками. Неужели мы в самом деле так уродливо созданы, что логика событий для нас не существует, что действие, на нас производимое, не может из нас сделать того, чем сделало бы людей, имеющих

нормальную человеческую организацию? Если так, поневоле впадешь в отчаяние, поневоле скажешь: наша нация — очень дрянная нация. Это и сказал Чаадаев своим письмом, бывшим причиною его несчастной знаменитости.

Но дело в том, что послылки, на которых он основывался, несправедливы. У нас была история, был резко и твердо выработавшийся характер в начале XVIII века, а в следующее время сделать нас европейцами никто не хотел, — что ж тут нелепого или удивительного, если мы до сих пор плохие европейцы? Переучиваться, переформировываться гораздо труднее, нежели просто учиться и формироваться; сильнейшее влияние было направлено к тому, чтобы мы не переформировывались и не переучивались, — вот мы и остались в сущности такими же, как были в начале XVIII века. Дело очень понятное. Те немногие из нас, которые по случайным обстоятельствам стали цивилизованными людьми (чего не бывает на свете? ведь Ломоносову удалось же из мужика стать ученым, хотя мужицкие обстоятельства вовсе не благоприятствуют превращению мужиков в ученых людей), могут находить наше общество не соответствующим их идеалу, но только и всего. Право, если правильно смотреть на нашу историю и наши обстоятельства, скажешь: очень и очень большая заслуга с нашей стороны, что мы сделались хотя такими, каковы мы теперь. У меня есть один добрый знакомый, который до 20 лет не знал грамоты: теперь ему 21 год; в этот последний год он встречал [препятствия] своему образованию, но все-таки он уже почти без ошибок пишет и несколько познакомился с нашею литературою, читал Гоголя, имеет порядочное понятие об истории; чего же вам больше? Я полагаю, что можно быть довольну такими успехами и что через несколько времени он будет действительно образованным человеком.

Но одна крайность вызывает другую: именно из недовольства нашим нынешним развитием, из отчаяния, наводимого характером нашего общества, рождаются мечты о каком-то исключительном нашем положении и призвании в будущем. Читая напечатанное в «Телескопе» письмо Чаадаева, надобно было предполагать, что он разделяет эти экзальтированные надежды: если бы он не был проникнут ими, не говорил бы он так горько о нашем настоящем. Но в напечатанном письме он не успел изложить этой стороны своего взгляда. Она составляет новую и, быть может, интереснейшую часть записки, которую мы теперь печатаем. Чаадаев полагает, что мы призваны вести человечество к новым судьбам, что у нас больше сил, чем у

других народов, что силы эти свежее, что мы скорее и легче других народов поймем и осуществим те новые блага, которые еще [не] вошли в жизнь Запада, которых он без нашей помощи не может уразуметь и достичь. Словом сказать, что если мы были и еще некоторое, очень недолгое, время, всего, быть может, несколько лет, останемся учениками Запада, то очень скоро, быть может даже еще в наше поколение, мы станем его учителями и руководителями. Эта мечта распространена у нас чрезвычайно. Не только славянофилы, над которыми посмеиваются западники, — если присмотреться хорошенько к самим западникам, то окажется, что подобное чувство лежит в основе даже их убеждений. Нам кажется, что взаимная вражда западников и славянофилов значительно усиливается этою существенно одинаковостью веры тех и других: известно, что близкие между собою партии всего ожесточеннее враждуют между собою. По крайней мере, мы до сих пор не встречали ни одного западника, который бы не оказывался в сущности славянофилом, если признаком славянофильства считать утопию о предназначении нашем быть руководителями человечества в дальнейшем прогрессе. Быть может, мы сами обольщаемся, быть может, и мы заражены тщеславными национальными мечтами, но, по крайней мере, нам кажется, что мы чужды им. Попробуем изложить свое понятие о доводах, которыми они прикрываются.

Мнение, будто бы именно мы должны стать руководителями человечества при развитии высших фазисов цивилизации, основывается на двух предположениях, проповедуемых в большей части книг не только у нас, но и на Западе, но тем не менее совершенно фальшивых. Во-первых, предполагается, что народы латинского и немецкого племени уже ввели в историческое дело все силы, которыми располагают, так что у них нет новых сил для создания новой жизни, совершенно непохожей на прежнюю. Во-вторых, предполагается, что мы — народ совершенно свежий, характер которого еще не сложился, а только теперь в первый раз слагается, силы которого ни на что не были расхищены.

Мы уже говорили, что это неправда. Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам так же трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам так же должно не воспитываться, а перевоспитываться. Основное наше понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим идею произвола²². Юридические формы и личные усил-

лия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы хотим вести дела этими способами: первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно. От этой одной привычки, созданной долгими веками, нам отрешиться едва ли не потруднее, чем западным народам от всех своих привычек и понятий. А у нас не одна такая милая привычка; есть много и других, имеющих с нею трогательнейшее родство. Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что Бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, приличные цивилизованным людям.

Говорят: нам легко воспользоваться уроками западной истории. Но ведь пользоваться уроком может только тот, кто понимает его, кто достаточно подготовлен, довольно просвещен. Когда мы будем так же просвещены, как западные народы, только тогда мы будем в состоянии пользоваться их историею, хотя в той слабой степени, в какой пользуются ею сами они. Просвещаться народу — дело долгое и трудное. Положим, легче пользоваться готовым, чем самому готовить, но все-таки и по готовым книгам не скоро поймешь и узнаешь все так хорошо, как знают люди, трудившиеся над составлением этих книг. Когда у нас пропорция между грамотными и безграмотными будет такова же, как в Германии, в Англии, Франции, когда у нас будет пропорционально числу населения выходить столько же книг, журналов и газет и будут они так же много читаться, только тогда мы будем иметь право сказать о своей нации, что она достигла такого же просвещения, как теперь эти страны.

Время это настанет, но не завтра и не послезавтра. Тогда — ну, тогда другое дело: опытность и цивилизация Запада действительно будут получены нами в наследство; тогда мы станем так же способны вести историческое дело вперед, но это еще далекое будущее, а пока долго еще вся наша забота должна состоять в том, чтобы догнать других.

Но когда мы догоним их, что тогда? О, тогда мы уже быстро опередим их! Вот это трудновато понять. Идет авангард и прокладывает дорогу; тяжело ему продвигаться вперед, он делает всего по две, по три версты в день; отсталые части войска идут по проложенной дороге, путь их легок, они делают в день по 30, пожалуй, по 40 верст; но как же это пойдут они таким же быстрым шагом, когда догонят авангард, когда перед ними будет тоже лежать новая местность, по которой надобно еще прокладывать дорогу? Нам кажется, что им просто придется тогда работать рядом с авангардом над проложением дороги. Конечно, число работающих рук увеличится, дело пойдет быстрее, будут пролагать нового пути не по три, а, быть может, по пяти верст в день, но будут пролагать все вместе, все рядом. Что за пошлое тщеславие воображать себя какими-то избранниками судьбы, какими-то привилегированными, чуть не крылатыми существами, когда рассудок и честное мнение о себе велят думать, что хорошо нам будет, если мы будем со временем не хуже тех, которые теперь лучше нас, а к тому времени будут еще лучше. Будем желать того, чтобы пришлось нам когда-нибудь трудиться вместе с другими, наравне с другими над приобретением новых благ: не будем, ничего еще не сделавши, самохвально кричать: эх вы, дрянь и гниль! — а вот мы так будем молодцы!

Но, говорят нам, авангард уже растратил или ввел в дело все свои силы; на Западе уже не остается элементов, не участвовавших в истории, таких элементов, которые могли бы придать ей новый вид. Это также совершенное заблуждение. Была на Западе история аристократического сословия; только недавно стало руководить историею среднее сословие и далеко еще не овладело ею всею, далеко еще не выказало всех своих сил, не переделало всего, что хочет и должно переделать. Да, есть вещь, которая действительно умирает на Западе; эта вещь — феодализм и олигархическое господство. Но силы среднего сословия все еще развиваются, и много, очень много улучшений в западной жизни произведет даже один этот элемент, уже много сделавший перемен. Но высшее и среднее сословия составляют только небольшую часть в каждой нации, а масса нации ни в

одной еще стране не принимала деятельного, самостоятельного участия в истории. Это новый элемент, безмерно различный от прежних; он еще только готовится войти в историю. Корабль Запада плывет еще, но только по истоку реки, с каждым новым днем все шире и глубже его плавание, все величественнее вид реки.

Запад, далеко опередивший нас, далеко еще не исчерпал своих сил — в этом отношении он таков же, как мы: страна, едва возделанная в немногих местах, которым полаглоприятствовал случай, еще имеющая безмерные долины, которых не касался плуг. Новая жизнь возникает в этих только начинающих оживать пространствах.

